

Глеб Иванович Успенский

**Заграничный дневник
провинциала**



Глеб Иванович Успенский

Заграничный

дневник провинциала

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664065

Аннотация

«...Проходил я как-то на днях мимо одной из мэрий и от нечего делать остановился вместе с толпой других зевак посмотреть на свадьбу. Крыльцо мэрии было наполнено расфранченными мужчинами и дамами, с минуты на минуту ожидавшими приезда жениха и невесты. Угрюмое, казарменное здание и фигуры городских на углу и на крыльце как-то странно смотрели на эту расфранченную, сияющую предстоящим праздником публику; эти цветы на голове и букеты в руках как-то вовсе не шли к пыльной чиновничьей мурье, с темными коридорами, запыленным, грязным полом и запахом махорки капорала. Я десятки раз видал и прежде эту уличную сцену, но обыкновенно бывало как-то так: согласишься и пойдешь; на этот же раз контраст между веселым смыслом сцены и жестким впечатлением чиновничьей мурьи как-то очень сильно и неприятно подействовал на меня. ...»

Содержание

Глеб Иванович Успенский

Заграничный

дневник провинциала

Уличная сцена. – Я возроптал на современность. – Сигары. – Кое-что из газет: силы клерикалов; отправка рабочих в Филадельфию. – Студенческий конгресс. – Письма г. Мерже. – Г. Гамбетта. – Вообще довольно скверно. – Письмо Ж. Занд к Луи Ульбаху.

...Проходил я как-то на днях мимо одной из мэрий и от нечего делать остановился вместе с толпой других зевак посмотреть на свадьбу. Крыльцо мэрии было наполнено расфранченными мужчинами и дамами, с минуты на минуту ожидавшими приезда жениха и невесты. Угрюмое, казарменное здание и фигуры городских на углу и на крыльце как-то странно смотрели на эту расфранченную, сияющую предстоящим праздником публику; эти цветы на голове и букеты в руках как-то вовсе не шли к пыльной чиновничьей мурье, с темными коридорами, запыленным, грязным полом и запахом махорки капорала. Я десятки раз видал и прежде эту уличную сцену, но обыкновенно бывало как-то так: посмотришь и пойдешь; на этот же раз контраст между веселым смыслом сцены и жестким впечатлением чиновничьей му-

рьи как-то очень сильно и неприятно подействовал на меня. А когда к толпе расфранченной родни, стоявшей на крыльце мэрии, подкатила новенькая, с иголки каретка; когда из нее вышли жених и невеста, оба молодые, красивые, веселые; когда вся эта праздничная толпа, мешаясь с полицейскими и мешая запах цветов и духов с запахом махорки, направилась в глубину мрачной мурьи, – так мне стало скверно, тоскливо, что я, сам уж не знаю как, возроптал на цивилизацию, возроптал на то, что она, поглотив такую массу умов, жизней, пролив такую гибель крови, не только не осуществила так называемых «золотых грез», – что уж! – но даже удобств человечеству не дала никаких, если не считать за большое одолжение, что через семь тысяч лет по созданию мира, наконец, ухитрилась провести в кухню к человечеству воду и на всем земном шаре вымостила асфальтом только парижские бульвары... Даже деликатного обращения с человечеством не выработала эта удивительная история удивительной цивилизации... Вот перед вами Ромео и Юлия, – положим, что жених и невеста, которых я видел в мэрии, точно любят друг друга так, как любили друг друга Ромео и Юлия; предположим, кроме этого, что читателю известны также в совершенстве те веронские ночи, которые проводили эти влюбленные, – поглядите теперь, что делает с ними эта цивилизация: после веронских ночей она, заприметив их страстную любовь, тащит их, с цветами в руках, в квартал, в часть!.. Ну, есть ли тут хоть капля приличия, деликатности?

Какое же сравнение с этим плодом борьбы за благо человечества простой, милый, невинный «ракитовый куст» – свадобка вокруг ракитова куста?.. Где лучше впечатление: там, у куста, или тут, во французской, республиканской кутузке?.. Неужели из всей суммы этих боровшихся за счастье человечества умов и народов не могло выйти самого простого сообщения, – что если ракитовый куст неудовлетворителен, то его надо заменить не кварталом, не кутузкой, а чем-нибудь поудобнее – каким-нибудь веселым храмом, а если уж храма много, то хоть сараем, что ли, просторным и чистым, хоть таким сараем, в каком здесь, в Париже, помещаются выставки экипажей и распродажи зонтиков... Нет! тащить в кутузку, в квартал... удивительно как деликатно и остроумно!..

Разогорченный этой аляповатой сценой (читатель, конечно, уж успел совершенно основательно объяснить себе причину такой чрезмерной раздражительности пишущего эти строки исключительно только скукой и бесцельным, а потому расстраивающим нервы скитанием по надоевшему Парижу), – разогорченный этой сценой, я уж не мог оторвать своей мысли от ропота на скудость результатов борьбы за человека, на ничтожность добытых этою борьбою плодов, и стало мне казаться, что человечество непременно должно же, наконец, заступиться за себя, обуздать эту цивилизацию, заставить ее держаться прилично и вообще образумить ее. На что это похоже: в Жомоне Французская республика отнимет у меня сто штук сигар, – отнимает и не отдает. Мало того:

роется в моих карманах, щупает бока, – есть ли тут хоть крупица здравого смысла? Я еду в эту республику жить, стало быть, буду пить, есть, курить; я везу ей, этой республике, доход, самый чистый; она будет тянуть с меня за эти мостовые, за эти деревца на улице, за спички, за табак, за железную дорогу, за омнибус, – словом, будет получать доход с каждого моего шага и, вместо того чтобы сказать мне спасибо, хватается за карман: «Отдай!»

Загораживает (буквально ведь) дорогу обеими руками какого-то солдата: отдай ей, республике, мои сигары! На, матушка, подавись моим добром, *s'il vous plaît!*¹ Эта удивительная цивилизация сумела так зарекомендовать человека перед человеком, что... подите-ка вот, например, попроситесь ночевать к вашему соседу, – часа этак в два ночи, – пустит ли он вас? Нет, не пустит; он боится, что его «ограбят»... Подите-ка потом, попробуйте просто на улице провести ночь (так как никто не пустит, если не заплатить), – позволят ли сделать это? Нет, сгонят с мостовой, сгонят с тротуара, с тротуарной скамейки... да и скамейки-то на улицах тоже только в одном Париже; на всем земном шаре только здесь, – слава тебе, господи, – додумались, что если человек устал (и очень можно устать от благодеяний этой цивилизации), – так надо ему где-нибудь сесть и отдохнуть... Кроме Парижа – нигде этого нет.

Сел – сгонят; стал – «чего стоишь?»

¹ Пожалуйста (*франц.*).

– Меня, друг ты мой любезный, – рассказывал мне извозчик, – один городской, так веришь ли, как есть из всей улицы выбил...

– Как так из всей?

– Так вот и вышиб вон из всей улицы. Стану так – «пошел прочь»... Перееду на угол – «чего стоишь?» Подвинусь подалее – нагонит, – «ишь нашел место!» Вышибает вон – да и на поди... Бился, бился я, – так из всей Покровки и вышиб, как есть начисто вылутил из всей улицы!..

Да то ли еще придумано: ни с того ни с сего вдруг запрут целое море, и если, наконец, пустят какой-нибудь пароходшко, так не иначе, как после страшной драки, притом денег изведут – тьмы тем, людей перебьют – видимо, невидимо... Не дают ни сесть отдохнуть, не дают ни пить, ни есть (сочтите, сколько ежедневно умирает с голоду на всем земном шаре), – и все-таки кругом виноват!.. А главное – подо все это подведены принципы разные – законы, и, что самое главное, никто не знает, зачем все это (то есть принципы и законы) подведено... Спросите-ка попробуйте хоть у г. Мак-Магона, – зачем это он у меня отнял сигары и куда их дел?.. Ведь, наверно, он отопрется от этого... J'y suis, j'y reste² – только всего и будет вместо сигар-то... а сигар все-таки мне не видать, как своих ушей, и где они – известно единому богу. Нет, решил я, – непременно надобно что-нибудь переделать во всей этой бестолковщине. Если уж нельзя совсем

² Так было и так будет (франц. поговорка).

отдать назад принадлежащие мне сигары, то нельзя ли хоть сказать мне, каков у них вкус? Если уж нельзя совсем перестроить эту неудобную, закопченную нору, то побелить ее, подновить – решительно необходимо.

Убедившись в необходимости такой ремонтровки, я, придя домой, принялся за чтение французских газет с целью найти что-нибудь, что убедило бы меня, что ремонтровка эта уже идет и что мысль моя, стало быть, верна.

Теперь, думал я, наконец-таки установилась республика, – и разумеется, ее первая обязанность – похлопотать, чтобы человечеству, хоть только французскому, было поудобнее жить на свете.

«В 1844 г., – читаю я, – белого духовенства (*clergé seculier*) было во Франции 41 619 человек (священников). В 1872 г. их стало уже 52 148 человек. Прибавилось на 10 529 человек. Монахинь в 1844 г. считалось во Франции около 25 тысяч, г в 1872 г. их набралось уже 84 300. Прибавив к этим цифрам 32 102 монаха, получим сумму в 149 550 человек, причем окажется, что с 1844 г. по 1872 г. духовенства увеличилось на 69 тысяч 529 чел., в том числе одних женщин прибыло 59 000 (*Manuel du droit public ecclesiastique frangais, M. Dupin.*)³ «Что же касается размеров материальных средств духовенства, то о них можно судить по размерам его расходов, о ко-

³ Руководство французского общественного церковного права. М. Дюпен (*франц.*).

торых в книге Блока «La statistique de la France»⁴ находятся следующие цифры: «В 1820 расходу было – 24061 399, в 1832 – 33 049 361, в 1851 – 40083947, а в 1873 расходу уже 52261 595 франков».

Читаю я это и думаю: «Недурно! Эти люди, очевидно, делают дело и умеют делать его. В тридцать лет они увеличивают свою корпорацию почти вдвое, а в пятьдесят лет умеют увеличить свои доходы в два с половиною раза. Нет никакого сомнения, что они работают, да и не только работают, а дают в своих монастырях прибежище массе женщин, очевидно оставшихся на свете одинокими благодаря войне 1870–1871 годов, (Иначе невозможно объяснить такой наплыв в 1872 году женщин в монастыри.) Такой успех партии, с которой просвещенному человеку почти обязательно вести войну, – заставил меня тотчас же обратить внимание на успехи, какие сделал сам этот просвещенный человек.

В войну 1870–1871 годов просвещенный человек (хотя и не теперешний) ухлопал двести тысяч человек, некоторая часть вдов подобрана монастырями, духовенством. Затем из дебатов об амнистии видно, что теперешний, уже просвещенный человек в самом начале своей деятельности устранил из обращения более пятидесяти тысяч человек – тридцать три тысячи изгнал и, заковав в цепи, разослал в Нумею, Новую Каледонию, Кайенну, а семнадцать тысяч с лишком расстрелял; еще некоторая часть вдов подобрана духовен-

⁴ Статистика Франции (франц.).

ством и монастырями. Увеличивая ряды своего противника, хлопочет ли просвещенный человек о том, чтобы на будущее время не пришлось ему вновь устранять из обращения собственных своих граждан, представителем которых он служит к от которых получает за эту службу вознаграждение? Нет! Не только не старается, – а как бы стремится ожесточить против себя собственную свою партию. Вот пример. Несколько времени тому назад в газетах печаталось объявление о так называемом *Fete du travail*⁵. Праздник этот состоял в том, что парижские мастерские решили уступить вознаграждение одного рабочего дня в пользу делегатов от рабочих обществ, отправляющихся на Филадельфийскую выставку. Этот день даровой работы и назван праздником. Необходимость такой жертвы со стороны рабочего человека в пользу своих братьев рабочих объясняется удивительно остроумным поведением вышеупомянутого просвещенного человека. Мысль об отправке рабочих на Филадельфийскую выставку пробудилась в рабочих синдикатах Парижа и мотивировалась самым основательным доводом. Член общества переплетчиков Винена, избранный этим обществом в делегаты, вот как изложил эти доводы перед своими избирателями: «Я уже имел случай и прежде путешествовать по Англии и Бельгии, и уж не раз приходилось задуматься о том, чего заслуживают рассказы о благосостоянии рабочих, существующем в каких-то отдаленных странах. Преимущества положения бельгийских ра-

⁵ Празднике труда (*франц.*).

бочих, превознесенные нам несколько лет тому назад точь-в-точь так, как теперь превозносят нам положение рабочего в Америке, оказались, по моим наблюдениям, чистыми бреднями, существующими только в воображении их сочинителей.

Собственный опыт убедил меня в том же относительно Англии. И в Америку я еду почти уж убежденный, что прелести рабочего быта, которою нас мажут по губам, не существует и там; никакими и ничьими указаниями и руководствами я пользоваться не буду и положусь на собственные наблюдения и собственную работу; буду наблюдать и работать, как умею. Особенное внимание я обращаю на машины. Машинам предстоит в будущем принести нам, рабочим, громадные выгоды. До сих пор они помогали только благосостоянию отдельных лиц, но когда всеми будет хорошо понята необходимость товарищества, – они будут улучшать благосостояние лиц, уменьшать работу рук и дадут время поработать и мозгу». Подобного же рода цель, то есть желание изучить технические усовершенствования разного рода ремесел, была заявляема во всех рабочих синдикатах, отнесенных разными специальностями, и нет никакого сомнения, что желание изучить свое дело – желание вполне законное – и должно быть предоставлено именно специалистам. Что же делают просвещенные люди? Они вручают шестьсот тысяч франков хозяевам фабрик, зная, что не всякий хозяин имеет ту же цель, что и рабочий, и зная кроме того, что

не всякий хозяин – специалист: одному фабрика досталась по наследству, другой, будучи, положим, сам мыловар, получил железный завод в уплату долга и т. д. Наконец, немало есть и таких, у которых, помимо фабрик и заводов, на руках имеются громадные капиталы и все время которых поэтому занято игрою на бирже и другими спекуляциями, отнимающими всякую возможность посвятить себя изучению техники каких-нибудь мастерств. Так вот этим-то людям палата и вручила шестьсот тысяч франков, хлопоча о том, чтобы право распоряжаться посылкою рабочих на выставку было отнято от синдикатов и оставлено в руках неспециалистов: то есть делая как раз не то, что нужно. Рабочие синдикаты отказались признать за неспециалистами право распоряжаться в их собственном деле и продолжали настаивать на том, что именно они, а не кто другой, должны и имеют к этому все резоны, – сами выбирать людей, которых надо послать в Филадельфию.

Тогда, видя, что дело поставлено довольно глупо, национальное собрание просвещенных людей решилось дать рабочим сто тысяч франков, но тут же спохватилось и не замедлило поступить еще хуже: сто тысяч франков оно давало с тем, чтобы право назначения делегатов от рабочих обществ было предоставлено министру внутренних дел, – то есть лицу, которое отдалено от рабочих обществ, как земля от солнца, и уж не имеет ровно никакого понятия ни о специальностях, ни о лицах, которые посвятили себя той или дру-

гой из них. Синдикаты отказались и от этого одолжения своих представителей и решились отправить делегатов на собственные средства и на то, что даст подписка...

Органы буржуазной реакционной и умеренной прессы потешались над отказом синдикатов от подачи, издевались над их желанием самим остаться хозяевами в собственном своем деле, прохаживались насчет будто бы очень изысканной щепетильности, вовсе не подходящей к блузе, осмеивали то неуместное и аляповатое чувство собственного достоинства этой блузы, которое позволяет человеку обращаться за помощью и не позволяет ее принимать, когда дают.

Несмотря на все это, синдикаты стояли на своем, и подписка продолжалась, но, к сожалению, так как у этой партии нет ни органов специальных, нет ни права сходов, а главное, нет самого необходимого – средств, то сборы подвигаются сравнительно плохо, и нет никакой возможности избежать приношений доброхотных дателей, вроде депутатов того же умного собрания, театров и т. д. И при всем этом в течение месяца собрано только пятьдесят тысяч франков. Более двадцати франков не давал ни один из самых радикальных депутатов, в том числе г. Гамбетта – сия опора угнетенных и униженных; остальные – два и один франк, даже пятьдесят сантимов давали некоторые депутаты. Из таких грошей кое-как и набралось пятьдесят тысяч. Наконец рабочие сами решились устроить упомянутый выше *fete du travail*; что он даст – еще неизвестно. Делегаты некоторых синдикатов уже

отправлены в Америку.

А вот в 1872 году то же самое национальное собрание отняло государственную субсидию от разных религиозных обществ, и точно так же была открыта подписка, – и опять оказывается, что враги просвещенных людей умеют помогать своим. В четыре года одна газета Вильмессана собрала около полутора миллиона франков, а в нынешнем, в 1876 году та же газета, на тот же предмет, с 13 по 23 мая, то есть в течение десяти дней, собирает девяносто тысяч франков.

Деньги эти, поступающие в распоряжение религиозных обществ, раздаются последними своим членам, большею частью – аристократам, которые и помогают бедным – тем самым бедным, у которых просвещенный человек разогнал и перестрелял родителей и детей и которым отказывает в желании учиться и улучшить знанием свое положение, если они не пожелают подчиниться все тем же лицам, которые присвоили себе удовольствие помогать чужими деньгами Вот как либералы умеют помогать своим врагам! При таком образе действия будущность, ожидающая этот прекрасный город Париж и нас, случайных его обывателей, – не блистательна. В речи Виктора Гюго, прочитанной на могиле Жорж Занд, есть фраза о том, что каждый умирающий гений ведет за собою другого, молодого гения; что если в последние годы Франция потеряла так много сильных голов, то это значит, что на место утраченных явятся новые и новые силы и что, сообразно обилию утрат, надо ожидать и обилия грядущих и об-

новляющих сил. Передать в точности подлинные выражения Гюго я не могу, – у меня нет под руками подлинной речи, да и трудно вообще передать красноречие этого маститого оратора и романиста, который говорит и пишет как-то колесом, как ходят колесом наши деревенские ребята. Но смысл приведенного отрывка, как мне кажется, передан точно. Прочитав это, я порадовался: авось, подумал я, придет кто-нибудь из свежих людей, принесет свежие силы и примется поступать рассудительно. Гюго говорит – грядут! И действительно, за несколько дней до смерти Жорж Занд вдруг пронеслась весть о том, что французская учащаяся молодежь задумала устроить конгресс – собрание учащейся молодежи всех стран, для того чтобы сплотить во имя братства все эти молодые силы, разумеется на служение общему благу. Повеселел я, узнав об этом, и с нетерпением стал ожидать первого собрания. Наконец это собрание состоялось, – и что же? Из братского общества для начала сплочения были на первом же собрании выгнаны немцы. Признаюсь, немало это удивило меня, особенно удивило тогда, когда коновод этого конгресса, г. Мерже, один из здешних студентов, обнародовал в газетах письмо в объяснение недоумения общества и литературы, сочувствовавших этому братству. Письмо это адресовано к журналисту Шарлю Ревер. «Вы говорите, – пишет Мерже, – что «у знаний нет родины», и потому на студенческий конгресс должна быть допущена учащаяся молодежь всех национальностей. Но цель наша – ее знание: мы,

как учащиеся, не беремся за то, что составляет дело учителей; наш конгресс – не академия и не занимается научными вопросами. Цель конгресса – во имя всемирного братства сплотить молодежь всей Европы. Вы находите, что и ради этой цели немцев-студентов устранять не следовало бы, – но я не согласен с вами. Наша вражда к немцам не патриотическая; они взяли у нас Страсбург, но мы можем напомнить им и Берлин и Иену; точно так же русским можем напомнить Севастополь, австрийцам – Вену и т. д. Стало быть, поражение, нанесенное нам немцами, не имеет тут никакого значения. Дело все в том, что войны Франции всегда велись за освобождение, за идею, за прогресс, тогда как немецкие войны велись только ради захвата, ради того, чтобы завладеть чужим и угнетать его. Немецкая молодежь вовсе не чужда этой идее, руководящей немецкой нацией в ее войнах, и не только не чужда, а прямо воспитывается в этой идее, и особенно во враждебных чувствах к нам, французам. Почитайте немецких поэтов: Арндта, Кернера, Шенкендорфа; они еще с начала столетия поучали необходимости пролить французскую кровь. Таково воспитание немецкого студенчества до сих пор».

Мне, как закоренелому российскому патриоту, – говоря правду, – очень по вкусу такой афронт, нанесенный немцам; ко если я, подобно г. Мерже, изгоню из своего мирозерцания такую вещь, как вражда, то поступок юного конгресса, с г. Мерже во главе, утрачивает для меня всякую прелесть.

«Не имея вражды, мы изгоняем немцев из общества, образовавшегося во имя всеобщего братства, потому что они питают к нам вражду». Тут даже и глупости очень довольно, и уж ни единой капельки нет нового. Напротив, само французское юношество, полагающее необходимым напомнить о том, что должно быть между людьми что-то братское, само начинает, подобно ненавидимым им немцам, также воспитываться во вражде. Что ж тут нового? Вот если бы г. Мерже сказал, что даже тех самых немцев, которые враждебны к нам, мы приглашаем примкнуть к братскому союзу, – это было бы ново и нужно. В настоящую минуту именно и необходимо, в частной и общественной жизни народов, этот новый род взгляда, который бы именно отрицал вражду во всевозможных видах и показывал бы пример этого. Этого только и нужно, а этого именно и нет ни в чем новом. Старый человек Жорж Занд выводит рабочего Пьера Гюгенена и заставляет влюбиться в него маркизу – это ново, это действительно говорит о правде. Распайль, восьмидесятилетний старик, просидевший в тюрьме большую часть своей жизни, почти тотчас по освобождении начинает говорить об амнистии и грозит не закрывать рта, покуда она не будет дана, – это тоже ново, тоже справедливо, тоже пробуждает в сердце человека добро. А г. Гамбетта, который отказывается от подачи голоса об амнистии, – это ни старое, ни новое, а просто скверное явление.

Итак, покуда ничего еще и ниоткуда не грядет. Напротив,

г. Гамбетта получил уже от своих марсельских избирателей письмо, в котором они высказывают сожаление, что подавали свой голос за него, так как его основательное молчание в самых существенных вопросах – для них явление совершенно неожиданное, особенно со стороны главы республиканской партии, и притом тогда, когда республика установлена окончательно. Кстати о г. Гамбетте, который в последнее время сильно пошатнулся в общественном уважении. Недавно, а именно 23 июня умер от удара некто г. Теофил Сильвестр. Умер он за завтраком, поутру, причем оказалось, что завтракал этот человек у г. Гамбетты.

«Каким образом могло случиться, – обратились газеты к г. Гамбетте, – что у вас возникла дружба с г. Сильвестром, бывшим секретарем г. Пиетри и ревностным сотрудником Поля Кассаньяка в издании реакционной и бонапартистской газеты *Paus*⁶, каковым Сильвестр был по день смерти? Если в настоящее время, г. Гамбетта, вас окружают люди, подобные г. Сильвестру, то мы вас не поздравляем.

Кроме того, – констатируем еще следующий факт: г. Гамбетта, принимавши г. Т. Сильвестра за своим столом, не удостоил, однако, проводить своего знакомого на кладбище, когда он умер».

Итак, вот что покуда виднеется на горизонте: несомненный успех врагов республики и несомненное озлобление против представителей республиканской партии, которая

⁶ Страна (франц.)

ровно ничего не делает, а продолжает, в лице своего главы, систематически отлынивать от разрешения самых насущных вопросов. «Когда в 1880 году, – говорит одна хорошая газета гг. радикальным депутатам, – вы вернетесь к своим избирателям, то последние непременно спросят у вас: сделали ли вы что-нибудь из того, о чем трубили в ваших программах? Пытались ли вы делать изменения в нашем военном законе? Сделали ли вы какие-нибудь улучшения в наших судах? Подумали ли о более правильном распределении налогов? Замолвили ли хотя словечко об отделении церкви от государства? Нет, – ответите вы, – ничего этого мы не делали. Мы просто были умны и вели себя умно, так умно и тонко, что сенат решительно уже не примечает нашего существования». И разумеется, делаем, что хотим, прибавим мы... А молодежь ко всему этому, во имя братства, начинает воспитывать в себе непримиримую вражду.

Все это вместе дает физиономии здешней жизни весьма утомительное натянутое выражение.

А старые хорошие люди мрут. Вам, конечно, уже известна смерть Жорж Занд. Привожу здесь письмо покойной к Л. Ульбаху, которое, по мне, очень хорошо рисует эту писательницу вообще и довольно подробно знакомит с ее образом жизни в последние годы.

«...За последние двадцать пять лет в моей жизни нет ничего интересного: не спеша тянется в кругу семьи, спокойная и счастливая старость... Изредка какое-нибудь личное

горе нарушит ее спокойное течение, кто-нибудь из близких умрет, кто-нибудь поссорится... Вообще это такое состояние, которое, вероятно, знакомо и вам. При свидании, в разговоре, я охотно буду отвечать на все вопросы, какие вы мне предложите...

«За это время я потеряла двух любимых внучат, но у меня еще остались две малютки от моего Мориса. Невестку я почти так же люблю, как и сына, и им двоим я отдала в распоряжение все мое имущество. Время я провожу, забавляясь с детьми, занимаясь ботаникой, предпринимая долгие прогулки (я еще крепкий ходок), а когда выдается свободная минута, часа 4 в сутки, сочиняю романы. Пишу я легко и с удовольствием, писать – это мой отдых, рекреация; переписка с друзьями и знакомыми и вообще письма – вот это так уж настоящая работа! О, если бы можно было писать только к друзьям! Но кроме их писем сколько каждый день я получаю трогательных и смешных посланий. Каждый раз, когда я могу чем-нибудь помочь, – я отвечаю; если помочь не могу – молчу. Если вижу, что надобно удовлетворить, несмотря на малую надежду в успехе, – пишу, что попытаюсь. Из всей этой переписки необходимо ежедневно отвечать по крайней мере на десять писем. Это целый потоп, – но что будешь делать?»

«Надеюсь по смерти переселиться на какую-нибудь совершенно безграмотную планету. Надо быть вполне совершенным, чтобы не уметь ни читать и ни писать. В ожидании это-

го счастья – терплю.

«Если вас интересует мое материальное положение, то вот вам мои, очень простые, счета. Я выработала своими трудами миллион франков и все это отдала моим детям, исключая 20 тысяч франков, которые приберегаю на случай моей болезни, чтобы в период дряхлости не обременять собою детей. Я еще не знаю – сумею ли сохранить и этот капитал, потому что то и дело нуждаются в нем то те, то другие.

Если я буду в силах еще работать, то, разумеется, и это сбережение будет пущено в обращение. Пожалуйста, молчите о том, что у меня есть сбережение, – только этим вы и поможете мне сберечь его.

«Если вы будете писать о моих средствах, то не ошибетесь, сказав, что я жила изо дня в день тем, что зарабатывала, что я смотрю на такое существование как на самое счастливейшее и правильное. Не имеешь излишков и не боишься воров.

«В настоящее время все домашнее хозяйство лежит на руках детей, и поэтому каждый год у меня остается свободное время, чтобы попутешествовать по отдаленным и неизведанным уголкам Франции. Уголков этих так много, и они так прелестны, что, право, дальше не стоит и ездить. Здесь я получаю материал для моих романов. Я люблю своими глазами видеть все то, о чем пишу. Если мне приходится сказать два или три слова о какой-нибудь местности, мне нужно непременно самой видеть ее и крепко держать в памяти, чтобы не ошибиться.

«Все это очень мелко и мало, мой друг, а для такого биографа, как вы, мне бы хотелось быть величиной с пирамиду. Но что делать: выше лба уши не растут.

«Вообще я самая простая женщина, к которой приделали ни с того ни с сего разные совершенно фантастические эксцентричности.

Обвиняли меня также, что я никого страстно не любила, – а мне кажется, что я и жила только любовью... Теперь, слава богу, с любовью меня уж оставляют в покое, а те, кто хоть сколько-нибудь еще привязан ко мне, – те на меня не жалуются.

«Старуха я еще очень живая; правда, забавлять других я уже не могу, но умею сама забавляться и быть веселой со всяким. По всей вероятности, у меня есть большие недостатки, но, как и все люди, я их не сознаю. Не знаю также, есть ли у меня что-нибудь и хорошее.

Думаю часто о том, что такое истина, отвыкла понемногу от ощущения моего я. Делая добро – только поступаешь логично, и никто никогда не делал умышленно зла. Будь я развитее в ту минуту, когда я делала зло, – наверное я не сделала бы его. Так и все люди. Вообще я не верю в злобу людей, но знаю, что на свете есть масса невежества».

Справедливо!

Париж, 24 июня и. сг.